

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



А. Блок

ПОЭМЫ



Александр Александрович Блок
Поэмы
Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»

*Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8924716
Поэмы [Сост., вступ. ст. и примеч. А. М. Туркова]: Дет. лит.; Москва; 2002
ISBN 5-08-004026-2*

Аннотация

В книгу величайшего лирика конца XIX – начала XX в. вошли его эпические произведения: поэмы «Ночная фиалка», «Возмездие», «Двенадцать», «Вольные мысли», «Скифы».

Для старшего школьного возраста.

Содержание

«Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!...»	5
Поэмы	11
Ночная фиалка[2]	11
Вольные мысли[3]	21
О смерти	23
Над озером	26
В северном море	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Александр Александрович Блок

Поэмы



А. А. Блок

1880 - 1921

«Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!..»

Имя Александра Блока, пожалуй, прежде всего связано у большинства читателей с множеством замечательных лирических стихотворений, подчас – подлинных шедевров, будь то стихи о любви во всей ее великой силе и во всем драматизме (вспомним хотя бы знаменитое «О доблестях, о подвигах, о славе...» или «Приближается звук...») или о родине («Россия», «На поле Куликовом»).

Поэмы Блока, за исключением «Двенадцати», вызвавших бурю разноречивых оценок, даже до сих пор не утихшую, менее известны, хотя едва ли не каждая из них была важной вехой на творческом пути поэта.

Проба себя в этом жанре совпала у Блока с завершением и выходом в свет в конце 1904 года его первой книги «Стихи о Прекрасной Даме». В ней роман с будущей женой Л. Д. Менделеевой осмыслен в духе не только романтически-рыцарского преклонения перед возлюбленной, но и увлекшей молодого поэта мистической философией Владимира Соловьева, пророчившего преображение мира Красотой, Вечной Женственностью.

«Туго, гладкими стихами старательно пишу поэму», – сообщал Блок 13 декабря 1904 года другому соловьевцу – Андрею Белому. В рукописи она носила название «Прибытие Прекрасной Дамы». Как и в сборнике стихов, туманно-мистические образы сочетались в ней с чутким ощущением назревающих в реальной действительности перемен.

Занятые «тяжелым», «медленным» трудом люди в «душном порту» неясно мечтают о каком-то чуде. Наконец гроза поет им «веселую песню», предвещая скорое прибытие «больших кораблей» из далекой страны.

А уж там – за той косою —
Неожиданно светла,
С затуманенной красою
Их красавица ждала...

То – земля...

Тут, пожалуй, впервые появляется в поэзии Блока образ родины (сходный образ впоследствии возникнет в знаменитом стихотворении «Россия»: «И лишь забота затуманит твои прекрасные черты»).

В упомянутом письме Белому говорится, что автор «дошел наконец до части, где должна появиться Она». Однако остановился и затем, публикуя эти семь глав незавершенной поэмы, озаглавил ее просто «Ее прибытие», уклонившись от прямого отождествления «Ее» с Прекрасной Дамой. А один из ближайших друзей Блока, Евгений Иванов, обычно посвящаемый им в самые сокровенные переживания, писал в черновых набросках своих воспоминаний, что таинственная Она – это революция.

В то время революция рисовалась Блоку в самых светлых тонах, почти как Тузенбаху в чеховской пьесе «Три сестры», который, говоря о «здоровой сильной буре», радуется тому, что она «сдует (странный глагол применительно к буре! – А. Т.) с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку». Вот и у Блока «буйные толпы» ведут себя самым мирным образом:

...в предчувствии счастья
Вышли на берег встречать корабли.

Кто-то гирлянду цветочную бросил,
Лодки помчались от пестрой земли.
Сильные юноши сели у весел,
Скромные девушки взяли рули.

Плыли и пели, и море пьянело...

И если в одном из вариантов этой, последней из написанных глав упоминается «гребень кровавый» морской волны, то это всего лишь зрительное впечатление – отблеск солнечных «пурпуровых стрел».

Далекий путь лежит отсюда до «Двенадцати»! И первым шагом на этом пути стало решение автора не продолжать свою первую поэму как продиктованную «разными несбывшимися надеждами», как пояснит он позже, помещая ее главы в собрание сочинений. О желании «бросить поэму» сказано уже в том же письме Андрею Белому, а наступившее вскоре, 9 января 1905 года, Кровавое воскресенье могло только окончательно похоронить мечты о скором и триумфальном пришествии «кораблей свободы».

В трагическом стихотворении «Девушка пела в церковном хоре...» (1905) очарованном ее «сладким» голосом людям «казалось, что радость будет, что в тихой заводи все корабли», -

И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Здесь вероятны как скорбный отголосок гибели русского флота в недавнем Цусимском бою, так и символический мотив несбывшихся надежд. В пору поражения первой русской революции он вновь и вновь возникал в более поздней книге Блока «Снежная маска» (1907), в тех же, знакомых нам, образах: «Там, где... В дали невозвратные Повернули корабли. Не видать ни мачт, ни паруса...», «И за тучей снеговой Задремали корабли...», «На вьюжном море тонут Корабли...» и т. п.

Впрочем, новый и совсем особый драматический поворот приобретает эта тема уже в поэме «Ночная Фиалка» (1906). В отличие от пьесы «Балаганчик» (1906), где Блок весьма саркастически высмеял мистические «предчувствия» и «ожидания» своих недавних единомышленников (да и свои собственные!), поэма выдержана в иной тональности.

Говоря об одном персонаже «Балаганчика» – рыцаре, автор в письме к постановщику пьесы В. Э. Мейерхольду высказал примечательное пожелание, выраженное в метафорической форме: пусть меч его будет «матово-серым, как будто сталь его покрылась инеем скорби, влюбленности, сказки – вуалью безвозвратно прошедшего, невоплотимого, но и навеки несказанного» (то есть невыразимо дорогого).

Эти слова – как будто музыкальный ключ, в котором выдержано все повествование в «Ночной Фиалке». Герой во сне попадает в странный сказочный мир, где уже бывал раньше, когда вместе с «товарищами прежними» поклонялся «королевне забытой страны, что зовется Ночною Фиалкой». Теперь же он видит, как собравшиеся всё глубже погружаются в сонное оцепенение, «и проходят, быть может, мгновенья, А быть может, – столетья». Подурнела королевна, потускнели королевские венцы, рассыпаются в прах мечи, сквозь истлевший пол пробивается травка. Все овеяно «старинной бездыханной», а настоящая жизнь – где-то далеко отсюда:

Слышу, слышу сквозь сон

За стенами раскаты,
Отдаленные всплески,
Будто дальний прибой,
Будто голос из родины новой...

Или гонит играющий ветер
Корабли из веселой страны.

На сей раз символический образ кораблей – жизненных перемен – возникает как решительный, динамический контраст блекнущему сказочному королевству. И сам герой, похоже, испытывает мучительное раздвоение между верностью когда-то дорогому прошедшему и тягой на простор. Мы еще припомним эту драматическую коллизию, когда будем читать более поздние поэмы Блока, в особенности – «Соловьиный сад».

Если в своей лирике Блок вскоре декларировал: «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!», то в цикле небольших поэм «Вольные мысли» (1907) возникает реальная панорама окружающего мира. Чрезвычайная конкретность, зримость рисуемых здесь картин повседневности даже побуждала некоторых критиков видеть в «Вольных мыслях» стихотворные очерки. Но конечно же это прежде всего «спокойные, строгие, простые и величавые стихи», как восторженно охарактеризовал их один современник, почувствовавший их явственное родство со знаменитыми пушкинскими белыми стихами.

Скитания лирического героя очерчены со всей бытовой достоверностью («Я проходил вдоль скачек по шоссе...», «Однажды брел по набережной я...»), но за ними проступают и его духовные метания и томления, острое неприятие «сытого» существования (описание «гуляющих модниц и франтов» живо перекликается со строками знаменитого стихотворения «Незнакомка»: «Среди канав гуляют с дамами испытанные остряки»), тоска по «соленому воздуху» морских просторов и естественной народной жизни (у блоковских тружеников почти иконные лики: «...Светлые глаза привольной Руси Блестели строго с почерневших лиц»).

Пройдет несколько лет, и поэт сделает следующий шаг на пути приятия жизни не только во всей ее живой конкретности, но и во всей драматической масштабности ее исторического течения, становления, смены и в то же время преемственности, связи поколений, когда «в каждом дышит дух народа, сыны отражены в отцах».

«Современная поэзия чужда крупных замыслов», – сетовал один из ее ярких представителей – Иннокентий Анненский в предсмертной статье 1909 года. Сходного мнения придерживался и Блок. Как «недостаток... современной талантливости» отмечает он в записной книжке «короткость, отсутствие *longue haleine*¹».

Перечитывание пушкинской и толстовской прозы не только утверждает его в этих мыслях, в мечтах о «большом стиле», но и как бы исподволь создает атмосферу некоей духовной «предрасположенности» к возникновению «крупных замыслов». «Волнение идет от „Войны и мира“ (сейчас кончил II том), – записывает он однажды ночью, – потом распространяется вширь и захватывает всю мою жизнь и жизнь близких и близкого мне».

Смерть отца в конце 1909 года, незаурядного ученого со сложной, несложившейся судьбой, способствует окончательной «кристаллизации» дотоле еще смутных мыслей.

Первоначально этому событию была посвящена преимущественно лирическая «Варшавская поэма». Впоследствии блоковский замысел расширяется и предполагает создание большого эпического полотна, запечатлевающего уже не только «жизнь близких», но и панораму русской и даже мировой истории конца XIX – начала XX века. «Варшавская поэма»

¹ Широкое дыхание (*фр.*).

становится лишь отдельной главой в этом новом произведении, где и отцовская биография, и эпизоды семейной хроники Бекетовых, родни поэта с материнской стороны, проецируются на широчайший исторический фон. Поэт стремится отыскать и выявить скрытые связи между личными драмами персонажей и нараставшим в мире предгрозовым напряжением.

Поэма «Возмездие» начинается триумфальной картиной возвращения русской армии в Петербург с русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Ликование, «толпа глазеющих зевак», все еще вроде бы благополучно... И, лишь как внезапно взметнувшийся язык подземного вулканического огня, возникает сцена тайного сборища революционеров, будущих участников царубийства.

Столь же обманчивой оказывается и идиллическая жизнь изображенной далее петербургской дворянской семьи. Объективность, с которой описывает и оценивает поэт породившую его самую среду, – одно из его замечательных достижений. О конце русского дворянства говорит, как охарактеризовал себя однажды сам Блок, «тот, кто любил его нежно, чья благодарная память сохранила все чудесные дары его русскому искусству и русской общности в прошлом столетии», но «кто ясно понял, что уже пора перестать плакать о том, что его благодатные соки ушли в родную землю безвозвратно...». (Не напоминает ли это отчасти грустную интонацию «Ночной Фиалки», где о персонажах говорилось, что «над старыми их головами Больше нет королевских венцов»?)

Одно только появление «незнакомца странного» (во многом похожего на отца поэта), нарушившего семейный покой, подобно грозовой зарнице на дотоле мирном небе. Впереди же «сию старинную ладью» ждут новые небывалые бури, зарождающиеся в русской жизни, поистине пророчески охарактеризованной Блоком:

Так неожиданно сурова
И вечных перемен полна,
Как вешняя река, она
Внезапно тронуться готова,
На льдины льдины громоздить
И на пути своем крушить
Виновных, как и невиновных,
И нечиновных, как чиновных.

К сожалению, автору не суждено было довести поэму до конца. Завершена лишь «отцовская» линия сюжета. Судьба сына (фигуры во многом автобиографической) остается неясной, но, несомненно, трагической. Возникающие в последней из завершенных, «варшавской», главе образы вьюги, ветра, который «ломится в окно, взывая к совести и к жизни», «Пана-Мороза», который «во все концы Свирепо рыщет на раздолби», в чем-то близки атмосфере будущей «октябрьской» поэмы Блока с ее сквозным мотивом метельной бури, сотрясающей мир.

Рядом с грандиозным по замыслу «Возмездием» «Соловьиный сад» выглядит очень скромно, и сам автор улыбочиво называл его «поэмкой». Однако, читая «поэмку» и рассматривая ее в перспективе всего творчества Блока, вспоминаешь давние строки Фета:

Но муза, правду соблюдая,
Глядит – а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

В предельно сжатом и четко организованном сюжете «Соловьиного сада» воплощены издавна волновавшие Блока мысли и чувства. Уже в «Ночной Фиалке» герой тяготился пребыванием в сказочном королевстве, прислушиваясь к зову жизни за стенами. С годами этот мотив становится все отчетливее. Близкий будущей поэме сюжет возникает в стихотворении «В сыром ночном тумане...», где перед усталым путником возникает манящий огонек:

И показалось мне:
Изба, окно, герани
Алеют на окне...

И сладко в очи глянул
Неведомый огонь,
И над бурьяном прянул
Испуганный мой конь...
«О, друг, здесь цел не будешь,
Скорей отсюда прочь!
Доедешь – всё забудешь,
Забудешь – канешь в ночь!
В тумане да в бурьяне,
Гляди, – продашь Христа
За жадные герани,
За алые уста!»

Волнующая автора тема развита с поразительной смелостью и искренностью в сюжете «Соловьиного сада», где сказочность сочетается с величайшей простотой. Сердце героя разрывается между окружившей его в волшебном саду красотой и суровым долгом, связанным с «низким», прозаическим образом осла, спутника самого будничного труда.

В литературе о Блоке существует версия, согласно которой соловьиный сад – нечто дьявольское, соблазн, созданный на погибель человеку. Однако думается, что это скорее образ счастья, еще недостижимого для людей и поэтому морально невозможного даже для того, который, казалось бы, мог им спокойно наслаждаться. Эта же мысль постоянно возникает и в лирике поэта:

Пускай зовут: *Забудь, поэт,*
Вернись в красивые уюты!
Нет! Лучше сгнуться в стуже лютой!
Уюта – нет. Покоя – нет.

Случилось так, что отдельным изданием «Соловьиный сад» был выпущен уже после революции, почти одновременно с «Двенадцатью», и демонстративно противопоставлялся некоторыми критиками этой новой поэме. Однако при всех внешне разительных отличиях оба произведения роднит самоотверженное приятие реальной жизни – в облике ли тяжелого будничного труда или грозно «двинувшейся» и крушащей на своем пути «виновных, как и невиновных» (вроде бедной «толстоморденькой Кати» в «Двенадцати») стихии народного мятежа.

Грозная, неостановимая поступь двенадцати героев явно ассоциировалась у поэта с его давним драматическим истолкованием знаменитого гоголевского образа-символа. «Что, если тройка, вокруг которой „гремит и становится ветром разорванный воздух“, – летит прямо на нас?» – писал он ранее, в статье «Народ и интеллигенция» (1908).

Блок чутко и верно понял, что «многопенный вал» (слова из его стихотворного послания «З. Гиппиус») революции возник из неисчислимого множества самых разных «капель» – от возвышенной мечты о справедливости до «черной злобы» и мстительных упований («Уж я ножичком полосну, полосну!..» – слышится в разноголосом «хоре» двенадцати красногвардейцев). По выражению чуткого современника, поэма осветила «и правду и неправду того, что совершалось». Ее герои несколько не идеализированы, и тем не менее она, по словам поэта Максимилиана Волошина, «оказалась милосердной предстательницей (заступницей. – А. Т.) за темную и заблудшую душу русской разиновщины». С величайшим состраданием и сочувствием написан образ «бедного убийцы» Катьки – Петрухи. И появление в финале поэмы Христа как бы во главе красногвардейцев, пусть и невидимого им, говорило о надежде автора на то, что правда и справедливость все-таки живут в глубине этих яростных душ и в конце концов восторжествуют.

Подобным стремлением защитить, отстоять «правду того, что совершалось», продиктованы и написанные сразу после «Двенадцати» «Скифы». Непосредственные впечатления от происходящего (в первую очередь – от немецкого наступления на новорожденную и неокрепшую Советскую Республику) претворились в этой маленькой поэме в грандиозные трагические картины.

Еще в «Итальянских стихах» (1909) и других, более ранних произведениях Блок проводил резкую грань между ценностями великой европейской культуры и тем, что он называл «всеевропейской желтой пылью», цивилизацией, где «машина раздавила человека» (как это происходит в пьесе «Песня Судьбы»), гнетущей бездуховностью; между тем, что он впоследствии, в дни создания «Скифов», назовет «лицом» Европы и ее все явственней обозначающейся хищной «мордой».

Он и в «Скифах» по-прежнему признается в любви к европейской культуре:

Нам внятно все – и острый галльский смысл
И сумрачный германский гений.

Однако все нараставшая в душе поэта с первых дней мировой войны боль за Россию, которой, по его убеждению, всех тяжелее (что и подтвердил происшедший в ней революционный взрыв), до крайности обострила его гневное неприятие «цивилизации дредноутов»:

Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавая наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!

И пусть картины страшного возмездия, которое постигнет «пригожую» Европу, если она не «опомнится», крайне фантастичны, но поразительно и по-прежнему современно вещее предчувствие поэтом катастрофичности, заложенной в мировой жизни и ныне проявляющейся в опасном противостоянии разных цивилизаций: сытого Севера и бедствующего Юга, «золотого миллиарда» обитателей процветающих стран и остальных жителей Земли!

Трудно поверить, что в начале своего творческого пути Александр Блок, дебютировавший как «чистый» лирик, сомневался в возможности поэмы открыть «простор для творчества». Ведь именно в этом жанре были им впоследствии созданы такие выдающиеся произведения, без которых его творчество, его поэтический облик попросту непредставимы.

А. Турков

Поэмы

Ночная фиалка² Сон



² Впервые напечатана в сборнике стихов Блока «Нечаянная Радость» (1907). В собрании сочинений поэт сопроводил ее примечанием: «...почти точное описание виденного мною сна» (в записной книжке Блока он был подробно зафиксирован). Однако «сюжет» сна в поэме значительно дополнен и переработан, введен мотив расставания с «товарищами прежними», что вызывает ассоциации с конфликтом между Блоком и его недавними друзьями, такими же почитателями В. С. Соловьева – Андреем Белым (псевдоним Б. Н. Бугаева) и Сергеем Соловьевым. Последний тем не менее нашел поэму «прелестной», напоминающей белые стихи В. А. Жуковского по «насмешливо-добродушным тонам повествования». Белый же отзывался о поэме крайне раздраженно и язвительно.



Миновали случайные дни

И равнодушные ночи,
И, однако, памятно мне
То, что хочу рассказать вам,
То, что случилось во сне.

Город вечерний остался за мною.
Дождь начинал моросить.
Далеко, у самого края,
Там, где небо, устав прикрывать
Поступки и мысли сограждан моих,
Упало в болото, —
Там краснела полоска зари.

Город покинув,
Я медленно шел по уклону
Малозастроенной улицы,
И, кажется, друг мой со мной.
Но если и шел он,
То молчал всю дорогу.
Я ли просил помолчать,
Или сам он был грустно настроен,
Только, друг другу чужие,
Разное видели мы:
Он видел извозицьи дрожки,
Где молодые и лысые франты
Обнимали раскрашенных женщин.
Также не были чужды ему
Девицы, смотревшие в окна
Сквозь желтые бархатцы...
Но все посерело, померкло,
И зренье у спутника — также,
И, верно, другие желанья
Его одолели,
Когда он исчез за углом,
Нахлобучив картуз,
И оставил меня одного.
(Чем я был несказанно доволен,
Ибо что же приятней на свете,
Чем утрата лучших друзей?)

Прохожих стало все меньше.
Только тощие псы попадались навстречу,
Только пьяные бабы ругались вдали.
Над равниною мокрой торчали
Кочерыжки капусты, березки и вербы,
И пахло болотом.

И пока прояснялось сознание,
Умолкали шаги, голоса,

Разговоры о тайнах различных религий,
И заботы о плате за строчку, —
Становилось ясней и ясней,
Что когда-то я был здесь и видел
Все, что вижу во сне, — наяву.

Опустилась дорога,
И не стало видно строений.
На болоте, от кочки до кочки,
Над стоячей и ржавой водой
Перекинута мостики были,
И тропинка вилась
Сквозь лилово-зеленые сумерки
В сон, и в дрему, и в лень,
Где внизу и вверх,
И над кочкою чахлой,
И под красной полоской зари, —
Затаил ожидание воздух
И как будто на страже стоял,
Ожидая расцвета
Нежной дочери струй
Водяных и воздушных.

И не даром все было спокойно
И торжественной встречей полно:
Ведь никто не слыхал никогда
От родителей смертных,
От наставников школьных,
Да и в книгах никто не читал,
Что вблизи от столицы,
На болоте глухом и пустом,
В час фабричных гудков и журфиксов,
В час забвенья о зле и добре,
В час разгула родственных чувств
И развратно длинных бесед
О дурном состоянии желудка
И о новом совете министров,
В час презренья к лучшим из нас,
Кто, падений своих не скрывая,
Без стыда продает свое тело
И на пыльно-трескучих троттуарах
С наглою скромностью смотрит в глаза, —
Что в такой оскорбительный час
Всем доступны виденья.
Что такой же бродяга, как я,
Или, может быть, ты, кто читаешь
Эти строки, с любовью иль злобой, —
Может видеть лилово-зеленый
Безмятежный и чистый цветок,

Что зовется Ночною Фиалкой.

Так я знал про себя,
Проходя по болоту,
И увидел сквозь сетку дождя
Небольшую избушку.
Сам не зная, куда я забрел,
Приоткрыл я тяжелую дверь
И смущенно встал на пороге.

В длинной, низкой избе по стенам
Неуклюжие лавки стояли.
На одной – перед длинным столом —
Молчаливо сидела за пряжей,
Опустив над работой пробор,
Некрасивая девушка
С неприметным лицом.
Я не знаю, была ли она
Молода иль стара,
И какого цвета волосы были,
И какие черты и глаза.
Знаю только, что тихую пряжу пряла,
И потом, отрываясь от пряжи,
Долго, долго сидела, не глядя,
Без забот и без дум.
И еще я, наверное, знаю,
Что когда-то уж видел ее,
И была она, может быть, краше
И, пожалуй, стройней и моложе,
И, быть может, грустили когда-то,
Припадая к подножьям ее,
Короли в седи́нах голубых.



И запомнилось мне,
Что в избе этой низкой
Веял сладкий дурман,
Оттого, что болотная дрема
За плечами моими текла,
Оттого, что пронизан был воздух
Зацветаньем Фиалки Ночной,
Оттого, что на праздник вечерний
Я не в брачной одежде пришел.
Был я нищий бродяга,
Посетитель ночных ресторанов,
А в избе собрались короли;
Но запомнилось ясно,
Что когда-то я был в их кругу
И устами касался их чаши

Где-то в скалах, на фьордах,
Где уж нет ни морей, ни земли,
Только в сумерках снежных
Чуть блещут золотые венцы
Скандинавских владык.

Было тяжело опять приступить
К исполнению сурового долга,
К поклонению забытым венцам,
Но они дожидались,
И, грустя, засмеялась душа
Запоздалому их ожиданию.

Обходил я избу,
Руки жал я товарищам прежним,
Но они не узнали меня.
Наконец, за огромною бочкой
(Верно, с пивом), на узкой скамье
Я заметил сидящих
Старика и старуху.
И глаза различили венцы,
Потускневшие в воздухе ржавом,
На зеленых и древних кудрях.
Здесь сидели веками они,
Дожидаясь привычных поклонов,
Чуть кивая прищельцам в ответ.
Обойдя всех сидевших на лавках,
Я отвесил поклон королям;
И по старым, глубоким морщинам
Пробежала усталая тень;
И привычно торжественным жестом
Короли мне велели остаться.
И тогда, обернувшись,
Я увидел последнюю лавку
В самом темном углу.

Там, на лавке неровной и шаткой,
Неподвижно сидел человек,
Опершись на колени локтями,
Подпирая руками лицо.
Было видно, что он, не старея,
Не меняясь, и думая думу одну,
Прогрустил здесь века,
Так что члены одеревенели,
И теперь, обреченный, сидит
За одною и тою же думой
И за тою же кружкой пивной,
Что стоит рядом с ним на скамейке.

И когда я к нему подошел,
Он не поднял лица, не ответил
На поклон и не двинул рукой.
Только понял я, тихо взглядевшись
В глубину его тусклых очей,
Что и мне, как ему, суждено
Здесь сидеть – у недопитой кружки,
В самом темном углу.
Суждена мне такая же дума,
Так же руки мне надо сложить,
Так же тусклые очи направить
В дальний угол избы,
Где сидит под мерцающим светом,
За дремотой четы королевской,
За уснувшей дружиной,
За бесцельною пряжей —
Королевна забытой страны,
Что зовется Ночною Фиалкой.

Так сижу я в избе.
Рядом – кружка пивная
И печальный владелец ее.
Понемногу лицо его никнет,
Скоро тихо коснется колен,
Да и руки, не в силах согнуться,
Только брякнут костями,
Упадут и повиснут.
Этот нищий, как я, – в старину
Был, как я, благородного рода,
Стройным юношей, храбрым героем,
Обольстителем северных дев
И певцом скандинавских сказаний.
Вот обрывки одежды его:
Разноцветные полосы тканей,
Шитых золотом красным
И поблекших.

Дальше вижу дружину
На огромных скамьях:
Кто владеет в забвеньи
Рукоятью меча;
Кто, к щиту прислонясь,
Увязил долговязую шпору
Под скамьей;
Кто свой шлем уронил, – и у шлема,
На истлевшем полу,
Пробивается бледная травка,
Обреченная жить без весны
И дышать стариной бездыханной.

Дальше – чинно, у бочки пивной,
Восседают старик и старуха,
И на них догорают венцы,
Озаренные узкой полоской
Отдаленной зари.
И струятся зеленые кудри,
Обрамляя морщин глубину,
И глаза под навесом бровей
Огоньками болотными дремлют.

Дальше, дальше – беззвучно прядет,
И прядет, и прядет королева,
Опустив над работой пробор.
Сладким сном одурманила нас,
Опоила нас зельем болотным,
Окружила нас сказкой ночной,
А сама все цветет и цветет,
И болотами дышит Фиалка,
И беззвучная кружится прялка,
И прядет, и прядет, и прядет.

Цепенею, и сплю, и грущу,
И таю мою долгую думу,
И смотрю на полоску зари.
И проходят, быть может, мгновенья,
А быть может, – столетья.
Слышу, слышу сквозь сон
За стенами раскаты,
Отдаленные всплески,
Будто дальний прибой,
Будто голос из родины новой,
Будто чайки кричат,
Или стонут глухие сирены,
Или гонит играющий ветер
Корабли из веселой страны.
И нечаянно Радость приходит,
И далекая пена бушует,
Зацветают далёко огни.

Вот сосед мой склонился на кружку,
Тихо брякнули руки,
И приникла к скамье голова.
Вот рассыпался меч, дребезжа.
Щит упал. Из-под шлема
Побежала веселая мышка.
А старик и старуха на лавке
Прислонились тихонько друг к другу,
И над старыми их головами

Больше нет королевских венцов.

И сижу на болоте.
Над болотом цветет,
Не старея, не зная измены,
Мой лиловый цветок,
Что зову я – Ночною Фиалкой.

За болотом остался мой город,
Тот же вечер и та же заря.
И, наверное, друг мой, шатаясь,
Не однажды домой приходил
И ругался, меня проклиная,
И мертвецким сном засыпал.

Но столетья прошли,
И продумал я думу столетий.
Я у самого края земли,
Одинокий и мудрый, как дети.
Так же тих догорающий свод,
Тот же мир меня тягостный встретил.
Но Ночная Фиалка цветет,
И лиловый цветок ее светел.
И в зеленой ласкающей мгле
Слышу волн круговое движенье,
И больших кораблей приближенье,
Будто вести о новой земле.
Так заветная прялка прядет
Сон живой и мгновенный,
Что нечаянно Радость придет
И пребудет она совершенной.

И Ночная Фиалка цветет.

18 ноября 1905 – 6 мая 1906

Вольные мысли³

(Посв. Г. Чулкову)



³ Впервые – в третьей книге альманаха «Факелы» (1908) и «В дюнах» – в журнале «Золотое руно» (1907. № 10). В критике было сразу отмечено, что здесь «Блок всходит на те вершины поэзии, где душа его роднится с душою Пушкина» и что по этим стихам «можно судить о настоящем (будущем) размере дарования» автора (М. Гофман).



О смерти

Все чаще я по городу брожу.
Все чаще вижу смерть – и улыбаюсь
Улыбкой рассудительной. Ну, что же?
Так я хочу. Так свойственно мне знать,
Что и ко мне придет она в свой час.

Я проходил вдоль скачек по шоссе.
День золотой дремал на грудах щебня,
А за глухим забором – ипподром
Под солнцем зеленел. Там стебли злаков
И одуванчики, раздутые весной,
В ласкающих лучах дремали. А вдали
Трибуна придавила плоской крышей
Толпу зевак и модниц. Маленькие флаги
Пестрели там и здесь. А на заборе
Прохожие сидели и глазели.

Я шел и слышал быстрый гон коней
По грунту легкому. И быстрый топот
Копыт. Потом – внезапный крик:
«Упал! Упал!» – кричали на заборе,
И я, вскочив на маленький пенек,
Увидел все зараз: вдали летели
Жокеи в пестром – к тонкому столбу.
Чуть-чуть отстав от них, скакала лошадь
Без седока, взметая стремяна.
А за листвою кудрявеньких березок,
Так близко от меня – лежал жокей,
Весь в желтом, в зеленях весенних злаков,
Упавший навзничь, обратив лицо
В глубокое ласкающее небо.
Как будто век лежал, раскинув руки
И ногу подогнув. Так хорошо лежал.
К нему уже бежали люди. Издали,
Поблескивая медленными спицами, ландо
Катилось мягко. Люди подбежали
И подняли его...

И вот повисла
Беспомощная желтая нога
В обтянутой рейтузе. Завалилась
Им на плечи куда-то голова...
Ландо подъехало. К его подушкам
Так бережно и нежно приложили
Цыплячью желтизну жокея. Человек

Вскочил неловко на подножку, замер,
Поддерживая голову и ногу,
И важный кучер повернул назад.
И так же медленно вертелись спицы,
Поблескивали козла, оси, крылья...

Так хорошо и вольно умереть.
Всю жизнь скакал – с одной упорной мыслью,
Чтоб первым доскакать. И на скаку
Запнулась запыхавшаяся лошадь,
Уж силой ног не удержать седла,
И утлые взмахнулись стремяна,
И полетел, отброшенный толчком...
Ударился затылком о родную,
Весеннюю, приветливую землю,
И в этот миг – в мозгу прошли все мысли,
Единственные нужные. Прошли —
И умерли. И умерли глаза.
И труп мечтательно глядит наверх.

Так хороню и вольно.

Однажды брел по набережной я.
Рабочие возили с барок в тачках
Дрова, кирпич и уголь. И река
Была еще синей от белой пены.
В отстегнутые ворота рубях
Глядели загорелые тела,
И светлые глаза привольной Руси
Блестели строго с почерневших лиц.
И тут же дети голыми ногами
Месили груды желтого песка,
Таскали – то кирпичик, то полено,
То бревнышко. И прятались. А там
Уже сверкали грязные их пятки,
И матери – с отвислыми грудями
Под грязным платьем – ждали их, ругались
И, надавав затрещин, отбирали
Дрова, кирпичики, бревёшки. И тащили,
Согнувшись под тяжелой ношей, вдаль.
И снова, воротясь гурьбой веселой,
Ребятки начинали воровать:
Тот бревнышко, другой – кирпичик...

И вдруг раздался всплеск воды и крик:
«Упал! Упал!» – опять кричали с барки.
Рабочий, ручку тачки отпустив,
Показывал рукой куда-то в воду,
И пестрая толпа рубях неслась

Туда, где на траве, в камнях булыжных,
На самом берегу – лежала сотка⁴.
Один тащил багор.

А между свай,
Забитых возле набережной в воду,
Легко покачивался человек
В рубахе и в разорванных портках.
Один схватил его. Другой помог,
И длинное растянутое тело,
С которого ручьем лилась вода,
Втащили на берег и положили.
Городовой, гремя о камни шашкой,
Зачем-то щеку приложил к груди
Намокшей и прилежно слушал,
Должно быть, сердце. Собрался народ,
И каждый вновь пришедший задавал
Одни и те же глупые вопросы:
Когда упал, да сколько пролежал
В воде, да сколько выпил?
Потом все стали тихо отходить,
И я пошел своим путем, и слушал,
Как истовый, но выпивший рабочий
Авторитетно говорил другим,
Что губит каждый день людей вино.

Пойду еще бродить. Покуда солнце,
Покуда жар, покуда голова
Тупа и мысли вялы...

Сердце!
Ты будь вожатаем моим. И смерть
С улыбкой наблюдай. Само устанешь,
Не вынесешь такой веселой жизни,
Какую я веду. Такой любви
И ненависти люди не выносят,
Какую я в себе ношу.

Хочу,
Всегда хочу смотреть в глаза людские,
И пить вино, и женщин целовать,
И яростью желаний полнить вечер,
Когда жара мешает днем мечтать
И песни петь! И слушать в мире ветер!

⁴ Сотка – водочная бутылка (сотая часть ведра).

Над озером



С вечерним озером я разговор веду
Высоким ладом песни. В тонкой чаще
Высоких сосен, с выступов песчаных,
Из-за могил и склепов, где огни
Лампад и сумрак дымно-сизый, —
Влюбленные ему я песни шлю.

Оно меня не видит — и не надо.
Как женщина усталая, оно
Раскинулось внизу и смотрит в небо,
Туманится, и даль поит туманом,
И отняло у неба весь закат.
Все исполняют прихоти его:
Та лодка узкая, ласкающая гладь,
И тонкоствольный строй сосновой рощи,
И семафор на дальнем берегу,
В нем отразивший свой огонь зеленый —
Как раз на самой розовой воде.
К нему ползет трехглазая змея
Своим единственным стальным путем,
И, прежде свиста, озеро доносит
Ко мне — ее ползучий, хриплый шум.
Я на уступе. Надо мной — могила
Из темного гранита. Подо мной —
Белеющая в сумерках дорожка.
И кто посмотрит снизу на меня,
Тот испугается: такой я неподвижный,
В широкой шляпе, средь ночных могил,
Скрестивший руки, стройный и влюбленный в мир.

Но некому взглянуть. Внизу идут

Влюбленные друг в друга: нет им дела
До озера, которое внизу,
И до меня, который наверху.
Им нужны человеческие вздохи,
Мне нужны вздохи сосен и воды.
А озеру – красавице – ей нужно,
Чтоб я, никем не видимый, запел
Высокий гимн о том, как ясны зори,
Как стройны сосны, как вольна душа.

Прошли все пары. Сумерки синей,
Белей туман. И девичьего платья
Я вижу складки легкие внизу.
Задумчиво прошла она дорожку
И одиноко села на ступеньки
Могилы, не заметивши меня...
Я вижу легкий профиль. Пусть не знает,
Что знаю я, о чем пришла мечтать
Тоскующая девушка... Светлеют
Все окна дальних дач: там – самовары,
И синий дым сигар, и плоский смех...
Она пришла без спутников сюда...
Наверное, наверное прогонит
Затянутого в китель офицера
С вихляющим задом и ногами,
Завернутыми в трубочки штанов!
Она глядит как будто за туманы,
За озеро, за сосны, за холмы,
Куда-то так далеко, так далеко,
Куда и я не в силах заглянуть...
О, нежная! О, тонкая! – И быстро
Ей мысленно приискиваю имя:
Будь Аделиной! Будь Марией! Теклой!
Да, Теклой!.. – И задумчиво глядит
В клубящийся туман... Ах, как прогонит!..
А офицер уж близко: белый китель,
Над ним усы и пуговица-нос,
И плоский блин, приплюснутый фуражкой...
Он подошел... он жмет ей руку!.. смотрят
Его гляделки в ясные глаза!..
Я даже выдвинулся из-за склепа...
И вдруг... протяжно чмокает ее,
Дает ей руку и ведет на дачу!

Я хохочу! Вбегаю вверх. Бросаю
В них шишками, песком, визжу, пляшу
Среди могил – незримый и высокий...
Кричу: «Эй, Фёкла! Фёкла!» – И они
Испуганы, сконфужены, не знают,

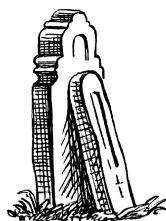
Откуда шишки, хохот и песок...
Он ускоряет шаг, не забывая
Вихлять проворно задом, и она,
Прижавшись крепко к кителю, почти
Бегом бежит за ним...

Эй, доброй ночи!
И, выбегая на крутой обрыв,
Я отражаюсь в озере... Мы видим
Друг друга: «Здравствуй!» – я кричу...
И голосом красавицы – леса
Прибрежные отвечают мне: «Здравствуй!»
Кричу: «Прощай!» – они кричат: «Прощай!»
Лишь озеро молчит, влача туманы,
Но явственно на нем отражены
И я, и все союзники мои:
Ночь белая, и Бог, и твердь, и сосны...

И белая задумчивая ночь
Несет меня домой. И ветер свищет
В горячее лицо. Вагон летит...
И в комнате моей белеет утро.
Оно на всем: на книгах и столах,
И на постели, и на мягком кресле:
И на письме трагической актрисы:
«Я вся усталая. Я вся больная.
Цветы меня не радуют. Пишите...
Простите и сожгите этот бред...»

И томные слова... И длинный почерк,
Усталый, как ее усталый шлейф...
И томностью пылающие буквы,
Как яркий камень в черных волосах.

Шувалово



В северном море



Что сделали из берега морского
Гуляющие модницы и франты?
Наставили столов, дымят, жуют,
Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу,
Угрюмо хохоча и заражая
Соленый воздух сплетнями. Потом
Погонщики вывозят их в кибитках,
Кокетливо закрытых парусиной,
На мелководье. Там, переменяв
Забавные тальеры⁵ и мундиры
На легкие купальные костюмы,
И дряблость мускулов и грудей обнажив,
Они, визжа, влезают в воду. Шарят
Неловкими ногами дно. Кричат,
Стараясь показать, что веселятся.

А там – закат из неба сотворил
Глубокий многоцветный кубок. Руки
Одна заря закинула к другой,
И сестры двух небес прядут один —
То розовый, то голубой туман.
И в море утопающая туча
В предсмертном гневe мечет из очей
То красные, то синие огни.

И с длинного, протянутого в море,
Подгнившего, сереющего мола,
Прочтя все надписи: «Навек с тобой»,

⁵ Тальеры – женские костюмы.

«Здесь были Коля с Катей», «Диодор
Иеромонах и по́слушник Исидор
Здесь были. Дивны Божий дела», —
Прочтя все надписи, выходим в море
В пузатой и смешной моторной лодке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.